

КТО ТАМ

Повесть

ВСЮ ЖИЗНЬ мне играть в игры. Соглашаться на чужие правила, принимать условия.

В пятом классе мальчишки из соседнего двора устроили игры в любовь, когда в сотки стало совсем не интересно. У каждого — объект, свои букеты, свои места встреч, схемы. Интриги, записки, звонки, нелепости. Качаешься на качелях, в тебя кидают букетом цветов, а ты взлетаешь, летишь. Через месяц у одного компьютер — любви нет, а девочкам два месяца еще думать-обсуждать.

И потом всё время: чтобы заставить кого-то ревновать, чтобы помочь отвязаться от такой-то, чтобы с гордостью прийти на дискотеку не одному.

А теперь эта дикая, нелепая игра в мужа и жену, чтобы ему поехать работать в Италию. Если это не шутка, почему он тогда заговорил со мной в лифте, если шутка, почему у меня сейчас в руках билеты Moscow — Rome и золотое колечко. Раньше я соглашалась потому, что не придавала ничему значение. Но как можно не придать значение тому, что летишь в чужую страну на три года, без права выезжать из неё год?

В конце концов, почему все эти мальчишки, мужчины выбирали меня?

Когда Александр, мой сосед, высокий, приятный молодой человек в очках объяснял, что же на, то есть я, ему необходима, потому что иначе никакого контракта, никакой Италии и хорошей работы, я только думала что-то вроде: «Если уехать сейчас, летом, можно пока ничего не бросать. А жарче, чем в Москве, в Риме не будет. Тем более, если есть море, ничего не важно».

— А когда нужно быть в Риме?

Мне не понравилось, что он онемел, отпрянул, растерялся. Значит, он действительно зануда. Значит, он уже месяца три готовил эту речь.

Целую неделю я чувствовала себя концентрацией эмоций и памяти. Казалось, я еду умирать, а перед этим ужасно хотелось прокрутить картинки-калейдоскопы, а у меня их было еще не достаточно на смерть. Например, однажды вечером повис гигантский человек-облако, в нелепой позе. Словно каждый день одно облако в мире принимает форму умершего не своей смертью человека. Вечная память убитым. А это их утешает?

Отдельным впечатлением — метро, почти каждый человек там, в которого я вглядывалась,

каждая пара, к которой я прислушивалась. Или как девочка тянет:

— Мама, ма-а-ам! — Женщина боится, не пересаживается от мужчины, разговаривающего с собой. Не его боится, а того, что к старости одичает, сойдет с ума, а с ней никто не заговорит, даже сесть рядышком не захочет, как с ним.

Или вот мужчина, сдерживающий распротертыми руками толпу на выходе из вагона. Может, он хотел обниматься.

И все эти странные, грустные люди рождали во мне что-то. Рождали во мне центробежную силу, и я так быстро убежала от них куда угодно. Потому что я могу любить эту страну только как строптивую, нелюбящую меня женщину. Откуда бы ты ни вернулся обласканным, чувствуешь, как с тобой или без тебя она будет меняться, стареть или хорошеть, равнодушно зная, что ты у неё есть.

До аэропорта, как и до ЗАГСа, добирались порознь. Все было молча, но кинематографично, даже смешно. Свидетельство Александр забрал сразу, вечером зашел за загранпаспортом. В самолете вручил мне свою биографию и своеобразную анкету: «Место жительства, любимые цвета, еда, животные, любимые места в Москве/мире, книги, фильмы. Родимые пятна, шрамы, татуировки, пирсинг (если есть). Ближайшие родственники и друзья».

— Ты не хочешь просто поговорить?

— Могу забыть. Прочитаю на ночь, все запомню. — Его занудство пока не переходило границы, но что-то мне уже не нравилось.

— Нас будут спрашивать друг о друге? Как в комедиях, чтобы убедиться, что это не фиктивный брак? — Улыбаюсь. Пытаюсь вывести на разговор или улыбку-реакцию.

— Возможно, но не факт.

Провал. В конце концов, это не сказка. Достаточно того, что он не урод и не пошляк.

Нас встречал кучерявый, низкий, пузатенький, но ухоженный, как и все они с рождения, итальянец. Говорил исключительно на родном языке. Итальянский я не знала, поэтому улыбалась и кивала. Александр редко отвечал, кивал, но не улыбался, что мне понравилось. Судя по тону разговора, он приехал сюда уже с хорошей репутацией и статусом, раз мог себе позволить не льстить и не улыбаться, когда не хотелось. Мне же просто нравилось всё вокруг, все вокруг, даже водитель, активно жестикулирующий на других, но внимание обращала на него только я.

Квартира наша находилась недалеко от набережной, как и институт, о котором я узнала гораздо позже; почти за городом. И этот факт был самым важным.

Там было две комнаты, и кухня, и кровать-чердак, и все как я люблю. А через три часа запаха супа и хлеба. В холодильнике и шкафах был уже минимальный набор продуктов, а мне хотелось наладить хоть какой-то контакт, раз уж я оказалась там.

С родителями мы созвонились сразу, но разговор был недолгий — уезжала я со скандалом. И хотя по голосу было слышно, что они уже соскучились, уступить никто не хотел.

Я никому не сказала, что уеду, что уеду далеко, и что уеду надолго. Подругам — до сих пор, родителям — до того, как у меня на руках не появилось кольцо, которое я надевала сама, почему-то вся в слезах, по дороге из ЗАГСа.

Как там в стишке... «Толя пел, Борис молчал, Николай ногой качал...».

Да, мама напевала что-то. Продумывать аргументацию нужно было тщательно. Но ничего им, наконец, не удалось.

Подругам ничего — с целью эксперимента. Я не умею скучать. Не уметь скучать или скучать головой — ужасающая вещь, понимание которой открывает в тебе какую-то абсолютную, плохую, тяготящую бесконечность. Ты бесконечен, так как устранен этим самым из жизни, растешь сам в себя. Тебя нет, если нет никого в твоём сердце. Остается уповать, что ты есть еще в ком-то, но это эгоизм. Любование, и ты должен не допускать, чтобы ты таков был еще в ком-то. Ты должен самоуничтожиться, не стать, уехать, наконец — единственное искупление.

Есть еще путь — научить себя, убедить, что умеешь, выработать чувствительный рефлекс. Я встала пока на этот путь, я не сказала друзьям, что замужем за нелюбимым, случайным человеком. Не сказала родителям, что уеду через две недели минимум на год. Я ничего эти две недели не говорила и ничего важного не делала, я только получала впечатления. Мне никак не понять, как Александру удалось оформить наш брак и остальные документы на меня за это короткое время. Мне все равно, я ему благодарна.

Когда мы в возрасте лет четырнадцати — шестнадцати устраивали вечеринки на общей кухне, собирались все, кто мог перебороть стеснение, даже он. Я любила танцевать, я танцевала хорошо, я приходила за комплиментами,

взглядами и разговорами — простительно, мне было четырнадцать.

Александр даже ни разу не смотрел на меня. Он мне был не интересен.

«Я смотрел на тебя, я тебя видел».

Мы как-то устраивали шашлыки на берегу озера, у дома. Александр тоже приходил, рассказал, что поступил в МГУ по результатам олимпиады, выпил пива и ушел.

Он не хвастался, не кричал, я услышала только потому, что проходила рядом. Это хорошо.

«Я как кретин ждал момента, когда ты будешь поближе, чтобы сказать это кому-нибудь. Я еще перебил тогда кого-то. Ну, полный кретин!».

После ЗАГСа он подвез меня на машине отца, по дороге купил букет, сказал:

— Кажется, так надо.

Если бы он не покраснел, я бы ему врезала.

А потом мы шли к подъезду, из которого как в укор, мальчик. И все один к одному. Мальчик, младше меня, с которым даже не здороваешься уже, так. Дурацкий браслет дарил, любил, кажется, в шутку. Мальчик этот навстречу, взглядом по голому моему плечу. Запястье будто больно сжимает тот старый железный подарок. Почему я ношу его? Почему на моем безымянном пальце еще одно чужое украшение.

«Ты умеешь готовить?».

Идеального во мне только и есть, что работа — хоть отбавляй, и любви ни капли. Даже хорошо это, очень хорошо.

Я вообще была молодцом, я хвалила себя. Все выходило ровно и гладко. С меня — готовить, убирать, делать вид, приспособливаться; времени для этого — вагон. С него — тишина, отсутствие плохих шуток и разбросанных носков.

Я отлично вписалась в эту страну. Не красивая, но нормального роста, с выгоревшими русыми волосами, смуглой кожей, активной жестикуляцией и мимикой.

Язык я не знала, но меня вот такой было достаточно для этой страны, чтобы потратить три месяца на изучение языка, и при этом спокойно контактировать с окружающими. Потому что в них просто была душа.

Язык я учила у нашего соседа, мужчины лет шестидесяти, русского, приехавшего десять лет назад к синьоре, с которой они познакомились по переписке. Он не успел доехать, она умерла, а квартиру завещала ему.

Есть такие люди, с младенческой пеленой на глазах. Она появляется у каждого с рождения, но остается на всю жизнь, наверное, у одного на миллион. С ними не бывает ничего плохого. Они не видят ничего плохого, никогда. Они не слепы, просто жизнь ведет их сама, поводырем. Жизнь уверена в них, оттого у таких людей не бывает чувств вроде страха, апатии, ненависти. Сосед наш, Станислав Стефанович, был именно таким. Он всегда, всегда говорил мне: «Нужно быть благодарным».

Я приходила к нему лечить свою ненависть к глупым людям, к себе, к холоду. Свой страх старости, нелюбви, красоты. Он всегда говорил мне: «Нужно быть благодарным». То есть, он говорил мне, надо дарить благо. Дарить всё, как он. Дарить еду бедным, деньги глупым, улыбку хорошим. Он сам всегда всё дарил, но в его квартире всё равно не было места от того, сколько всякого всюду валялось. Кажется, даже самые злые, жадные люди готовы были отдать все после разговора с ним. Он учил меня языку, я учила его танцевать. Через полгода мы даже ходили в один семейный ресторанчик на побережье.

Боже, храни Италию. Так могли хлопать и кричать нам только люди, родившиеся в этой стране. Только они могли хлопать Станислава Стефановича по плечу, смеяться, угощать вином, любить нас всем сердцем, радоваться за нас, нам, и делать всё это так, чтобы вы чувствовали себя... Так, наверное, чувствуют себя самые желанные на свете дети.

«Не вставай на рассвете рано — это уже октябрь. Встань часов в восемь: самое время обнулить все счетчики. В общем коридоре, заметь, под ногами, в углу рассыпались бабочки-самобийцы осенних цветов, как очень маленькие листья. Дойди до моря, оно распласталось кардиограммой холодно — горячо. Осознай, наконец, как всё от тебя далеко. Все беспощадно удалено и больше не подвластно возврату. Даже в мыслях отчаянно не восстановимо. Пройдись по ледяному песку — тут медузы рассыпались стеклышками, и всё, что тебе теперь нужно — ноги в песок. Почувствовать этот песок. У буйков дельфины, в руках «куриный божок», как в детстве учила мама, и значит ты — самый счастливый и свободный человек.

Неужели ты тут уже больше трёх месяцев, а так и не понял это?».

Поперек карандашом: «Уехал на неделю». Зачем-то ревную. Или нет. Или не ревную.

Самое время не пропустить ни минуты осеннего моря. Самое опасное — остаться наедине с собой. Мысли — моя самая тяжелая ноша. Самое лучшее спасение — язык. Я лежу, я смотрю, я думаю, я пишу. На итальянском. Я буксую, и это хорошо. К тому же, мой чудесный Станислав Стефанович нашел мне мальчика, я учу его русскому. Мы учим. Даже на побережье, в песке, в пледах. Проблема одна: они отпускают мне сотню комплиментов на одну квадратную минуту. Меня съедивает, я не привыкла до сих пор, это противоречит моим ощущениям. На втором занятии я плачу, молю их, и всё заканчивается. Я хочу дальше чувствовать себя некрасивой, мне так лучше.

Вообще всю неделю без Александра мне хочется плакать — нельзя. Приходится искать повод, каждый день: слишком темно, закончилась книга, рассыпала крупы, самолет слишком низко, вернулась слишком рано, разбила тарелку, детей за окном очень много, они кричат. Я плачу.

Благодаря тому, что по всему городу столько души, я долго держалась, долго не любила. Здорово было любить минут пятнадцать, от станции до пересадки, от остановки до другой. Так, за день накапливалось на час, почти навсегда. Но потом тебе мало, тебе хочется еще, тебе хочется ближе. В конце концов, весь этот город, прекрасный Рим — Roma — Amore стоит здесь столько времени, чтобы мне снова взбираться на любимое место в Колизее одной?

Я еду на ночь в клуб. Вообще, по четвергам ночной жизни в Риме нет, но мой таксист понимает меня. Я еду, и когда проходит минут двадцать, начинаю соображать, что делаю. Но ничего уже не исправить. На часах 1.00, я выхожу из машины, и, не раздумывая, вхожу в ближайшую дверь.

На танцполе две девушки и молодой человек, уже веселы. Просто веселы и в состоянии танцевать. Я не могу сразу, я одна, мне надо выпить. Спустя минут сорок я в центре, вокруг красивые, молодые люди. Но мне давно не четырнадцать, и я давно люблю не тех, кто уже смотрит не отрываясь. Тем более мой партнер увлекся, и комплиментами тоже.

Я уже иду к мужчине у барной стойки. Он смотрит куда-то мимо, меня это волнует, так как он самый красивый здесь. К тому же он знает об этом, и это решает все минимум на минуты разговора.

Он выглядит как итальянец, но я чувствую, что он не такой, не такой, как они. То есть мне

кажется, он надолго уезжал, или родители уехали отсюда, воспитали его в другой стране, а он вернулся.

— Вы родились не здесь?

— В Москве, — на русском.

— А выглядите как итальянец почти, — у меня уже акцент, мне он нравится.

— Зачем тогда спросила?

— Глаза у вас... — кривлю губы, — душа не как у них — обвожу зал рукой. Я сдаюсь. Я не люблю резкое «ты». Беру у бармена вещи, разворачиваюсь. Вся эта ночь не по мне.

— Я отвезу. — Мне в спину.

Не останавливаюсь, мы выходим.

— Вы выпили.

— Нет. — Мы садимся в машину. Мне не страшно, скорее противно. Почему меня так раздражает «ты»?

— Довезите, пожалуйста, до Piramide, — ничего в ответ. Мы едем не в ту сторону.

Мы едем в центр, я уже ориентируюсь. На всякий случай прошу высадить меня в районе площади Испании. Говорю не потому, что прошу, а потому, что хочу выглядеть приличнее. Но чтобы не выглядеть душой, дальше молчу. Мы останавливаемся на улице Bosca di Leone. Выхожу из машины, иду примерно в сторону метро. Он догоняет, берет за руку, ведет в другую сторону. Я сдаюсь окончательно сама себе. «Дальше только то, что сама захочу».

— Я не один, веди себя потише.

Злюсь. Прошу любое место, прилечь. Он говорит, что единственное место — кровать в его спальне. Без единого намека, обычным тоном. Зала нет, есть только гостиная, но там нет даже дивана. Я очень злюсь. Ложусь в одежде и сразу засыпаю. Мне все равно, что будет дальше.

С утра громкий женский голос где-то в соседней комнате. Я не очень понимаю её, так как говорит она будто на итальянском, но диалекте. Я понимаю мужчину. Еще я понимаю, что даже не знаю его имени. Кажется, он уже говорит на итальянском, но когда у тебя в голове два языка, не различаешь.

— Конечно, покажу. Милая, а зачем я её привез? Да, никаких проходимок. Да, в твоём доме. Понимаю. — Зато я ничего не понимаю. Встаю, беру сумку, ищу выход. В двери ключи, я вожусь с ними уже, наверное, минуту. Кто-то обнимает меня сзади.

— Доброе утро, bambino. Как тебе спалось? — Громко в ухо. Фу!

— Отлично. Откройте, пожалуйста.

Отстраняюсь, но ничего не выходит. Тихо в ухо:

— Проходи на кухню и переходи на ты. — Стою на месте. — И для мамита ты моя невеста. На час, ничего личного.

Как можно просить кого-то о чем-то таким тоном? Такими словами? Впрочем, я хочу играть на уровне. Действительно, ничего личного.

— Кто готовит завтрак?

— Мамита, конечно. Она не пустит никого за плиту.

— Отлично. — Иду умываюсь, причесываюсь. Выхожу на кухню.

— О, любимая! Присаживайся сюда. — Он суетится, улыбается, целует меня в висок — самое интимное. Он так любит маму? Или нервничает из-за того, что врет ей? — Познакомься, мама, это моя...

— Яна.

— ... моя Яна. — Жму руку маме, я очарована. Я очарована по-настоящему: высокая шатенка, худосочная, породистая, в достаточно смело обтягивающем платье в пол и с крупными кольцами на веснушчатых уже руках. Она не молода, но в ней столько достоинства, в глазах столько жизни. Мы замираем, глядя друг на друга, она улыбается, я отпускаю руку, наклоняю голову почему-то. Словно обряд инициации. Он прошел успешно, я горда, сажусь с прямой спиной. Ничего не знаю про эту женщину, но почти обожаю. Может, и сын её не только красивый?

— Молодец. — Не понятно, кому. В любом случае одно это слово стоит того, чтобы сидеть здесь в пятницу рано утром, в то время как твой муж, кажется, вернулся домой.

Я не питаю иллюзий, нельзя полюбить представленную тебе «невестку» за 15 секунд, но я вижу, что она умна и самодостаточна. Настолько, чтобы уметь не ревновать слепо своего сына. Он смотрит на меня с удивлением.

— Давид, сходи за молоком. Молока нет.

«Так-так-так». — Думаю я.

— Хорошо, мама. — Целует её в щеку, берет меня за руку, тянет к двери.

— Девочку оставь.

— Ма... — Она поворачивается, смотрит ему в глаза, пауза на миллион секунд, кажется. Я боюсь, но вмешиваюсь:

— Все в порядке, — высвобождаю руку. Он молча уходит. — Что вы готовите? — Лучше начать разговор самой и увести его куда-нибудь подальше. Я ничего не успела придумать про нас. Я и имя-то его узнала минуту назад.

— Гости. Умеешь?

— Умею. — Молчу. Опять начинаю бояться.

— Что еще умеешь? — Та-дам!

— Яичницу, гренки. Борщ умею. — Она улыбается. — Вообще, много всего.

— А спагетти?

— Я не итальянка. Видимо, правильный ответ «Нет». — Она одобрительно кивает. Я снова выпрямляю спину.

Через пять минут прибегает Давид. Запыхавшийся, торопился. Он в растерянности, мы с Еленой улыбаемся, мы выяснили, что покупаем специи у одного и того же араба на центральном рынке, и что он обеим делает скидку: «Только Вам, никому больше в этом мире».

— «Даже собственной маме!»

— Да-да-да.

— Вот молоко, мама.

— Садись за стол.

Через час мы с Давидом выходим из дома.

— До какого метро?

— Спасибо. — Ухожу вниз по улице, не оборачиваясь. Мне нравится, что это как сон, что я больше никогда не увижу их обоих, и что через какое-то время их красивые лица расплывутся в моем воображении. Останется только тепло.

У меня странные отношения с сильными женщинами. Я не из них. Но всегда они меня признавали, кажется. Учительница по физике с седьмого класса. Жесткая, прямолинейная женщина, с тонким чувством юмора. Не веселила нас, не давала расслабиться. «Любимчикам», которые уже знали, что им нужна медаль, поблажек не давала. Часть класса её боялась, часть ненавидела. Я одна, кажется, ходила на физику с удовольствием. И она это чувствовала. Ко мне одной всегда по имени. Это ничего не решало — у меня была стабильная «четверка», так как не в этом суть. Суть в «здравствуйте, Яна» в длинных школьных коридорах.

А еще директриса в Лицее, пара преподавательниц в институте, соседка. Все с покалеченными жизнями, кто-то детьми. Они имели право на эту силу. Просто надо научиться их чувствовать, чтобы уметь полюбить. Они достойны.

Не знаю, что у мамы Давида, но просто так шикарными женщинами не становятся.

«Надо поговорить. Буду в 18.30» — На холодильнике. Муж дома.

— Станислав Стефанович сказал, мне надо поговорить с тобой. — Выгибаю брови, сажусь прямее. Иду в оборону.

— Зачем?

— Скорее о чём.

— О чём? — Слишком быстро раздражаюсь.

Станислава Стефановича я люблю, но.

— О нас.

— Можешь не говорить со мной о нас. Тем более, если тебя попросил сосед.

— Понятно. Я начинаю сначала, ты не раздражаешься. А я четко выражу мысль.

— Угу. — Тыкаю вилкой в тарелку, смотрю в неё, изучаю.

Он подходит ко мне резко, неожиданно, я не успеваю что-то понять, решить, что делать. Я зачем-то встаю. Он целует меня. Я только думаю: «Он здорово целуется. Странно». Через какое-то время я отстраняюсь, с трудом.

— Нет-нет-нет-нет-нет! — Вытягиваю руку перед собой, поправляю волосы, облакачиваюсь на стул. — Нет-нет-нет.

— Э-э. Да. Я просто. А он мне. Он просто сказал. Решайся, парень, ей понравится решительность. Или убежит. Сказал — тебя ночью не было. — Потирает нервно лоб, рассеянно смотрит по сторонам, садится на место. Я возвращаюсь в себя, ухмыляюсь.

— Боишься, домой уеду?

— Боюсь, что уедешь.

— М-м. — Начинаю убирать со стола.

— Я не поел.

Удивительно, он уже, кажется, владеет собой.

— Зато я! — Бросаю всё, ухожу в комнату. Я в ужасном, ужасном смятении, недоумении; я не понимаю, каковы правила, чьё поле. Я даже не понимаю, чего я хочу. Кого.

Я ехала и понимала всё, я знала, что вот мой муж, вот я — его жена. Я должна, в случае чего, показать, что я любящая женщина, почти декабристка. А в остальном — свободна. Могу гулять, читать, учить, дружить. Но я хочу теперь любить. Кого же мне теперь любить?! Того, что удобнее, или случайного, или... Или мне усыновить кого-нибудь.

Ночью просыпаюсь от того, что он аккуратно лезет на второй этаж моей кровати, шурша подушкой. Замираю — целует тихонько в лоб и отворачивается. Жаль только, это ничего для меня не решает.

Неделю ношусь по городу. Ищу учебу, работу, что угодно. Станислав Стефанович подсылает учеников с книжками-подарками, водит на море, опекает, он крайне осторожен и терпелив, занимает меня каждую свободную минуту.

— Почему, ну почему же вам не лет на тридцать поменьше. — Он улыбается очень груст-

но, смотрит вниз. Вид у него рассеянный. Больше, чем он сам, похоже, никто этого не хочет. И я чувствую, что его проблема куда менее решаема, чем моя. Но переносит он её достойнее, без истерик и расстройств. Он за все благодарен.

— Простите меня.

Целый день я занята. Даже если это только видимость. С Александром мы по-прежнему очень мало разговариваем и всегда ужинаем вместе.

Станислав Стефанович никогда не соглашается присоединиться. Он готов проводить со мной целый день, но: «Ужин с мужем — это...» — поднимает руки, как будто сдаётся, прикрывает глаза, улыбается.

Еще мы спим с Александром в одной постели. Чтобы не создавать неловкие ситуации, кто-нибудь непременно ложится раньше. Я не высыпаюсь, нервничаю, постоянно просыпаюсь от того, что его обнимаю, или от того, что он положил на меня ногу. Но мы словно под наблюдением, если кто-то вдруг проверит, наконец, муж ли мы с женой. Настоящие ли. Я себя оправдываю именно этим. И это попытка та еще, так как это электрическая, пугающая близость.

Всё, всё это игра, в которую играют не от веселья.

Произошел сброс, я вернулась к исходной точке — ощущаю себя некрасивой гигантской женщиной. Боюсь размеров — не покупаю одежду. Боюсь видеть себя — никаких зеркал. Только маленькое Александру — браться.

Был без недели ноябрь. Активность моя всё зашкаливала, несмотря на то, что мысли делали всё тяжелее. Я ездила по всему городу, искала hand-made магазины, предлагала разные открытки, фотографии, декорированные вазы, миски, бутылки. В кафе рядом с домом договорилась с милой Фабрицией, что они будут моими поставщиками бутылок.

Часов в 7 утра я вставала, готовила завтрак и уходила на побережье — самое время для ракушек. После обеда квартира наполнялась разными химическими запахами. Я печатала фотографии, клеила картинки из засушенных цветов, покрывала ракушки лаком, посуду эмалью. Я начала рисовать, написала пару писем Станиславу Стефановичу, составила грамотный план для учеников с упражнениями — загадками, цитатами, важными основными книгами.

Не знаю, стоило ли томиться, напрягаться, сдерживаться столько времени, если в итоге все вышло ожидаемо, как.

Стоило ли приехать в Рим, разговаривать только по вечерам и формально, ни разу не быть на людях вместе, тяготиться друг другом, не посмотреть ни одного фильма вместе, не разговаривать никогда на итальянском друг с другом, не сделать ни одного снимка друг друга, не улыбнуться ни разу, не похвалить, не подарить ничего, чтобы всего лишь столкнуться случайно в коридоре, замереть, обняться вдруг, вздохнуть с таким облегчением, будто задерживали дыхание на годы, и лечь в одну кровать одновременно, наконец.

На следующий день мы впервые улыбнулись друг другу. В субботу мы пошли вместе за продуктами, в среду утром я сделала его первый снимок. Александр стал Сашей.

Всё словно развернулось и пошло назад. От тяжести друг другом к первому знакомству. От развода к медовому месяцу.

Только вот чем более гладким становилось пространство, тем более мне хотелось разбивать, рушить и падать.

Я не искала встречу, я её только чуть-чуть ждала. Но если бы, спустя четыре месяца нашей идиллии, Саша спросил меня, куда я иду в этот вечер четвертого марта, я бы обязательно всё рассказала. Но он молчал, а я шла.

Я бы даже расплакалась, потому что это было бы кино. Может, даже красиво. Потом рассказала бы, как мы встретились вчера у араба со специями:

— Мама в России, — дарю ему в ответ пакетик черного кунжута, и мир делится пополам, и Рим делится пополам, и базар навсегда становится местом, где может быть Давид, но не может быть Саша. Как Москва осенью восьмого года делилась по Новоарбатскому мосту налево, через площадь Свободной России, чуть захватив угол Новинского бульвара, до Поварской, через двор и к Дому Литераторов — на Кирилла. И обратно, месяцы спустя, от памятника Блоку, через бульвары, Новый Арбат, по противоположной стороне моста, налево к стеклянному — на Пашу.

Туда — с человеком-идеальные-усы, человеком-не-люблю, человеком-рекой, мужчиной-творцом, при котором всякая мысль доходит до искусства. Обратно — с тридцатью тремя эскалаторами, десятью воспоминаниями вроде: вино со звоном, стихи с посольства Великобрита-

нии, М&М на последнем ряду — мы целуемся, греемся, целуемся, нам всего мало, и М&Мса. Мы читаем, смотрим, обнимаем, просыпаемся вместе. Мы двое занимаем в этом мире одну тарелку с макаронами, одну пару рук, один плед, одно кресло. Он держит в форточку, целует в живот, кружит два раза — я лечу. По-настоящему.

А еще неконьки, несанки, некрым, нелодки, некуба, нелюбовь.

Москва поделена, наделена и оставлена. А Ватикан отделяется от Рима не в 1929 году, а на следующий после базара день, четвертого марта 2010 года, когда я провожу носком туфли черту, продолжая колоннаду на площади Святого Петра.

— Туда с тобой не пойдём. Только в этой стране. — Сама думаю: «Не видать тебе, как боюсь срывающихся с потолка Капеллы богов. Как хожу разрушать в себе это». Разворот.

Всё было вязко, пластично и кинематографично. Я могла позволить себе сходить с ума и не чувствовать при этом чьё-то недоумение. Мы искали катализаторы. От прыжка с пирса до «дня всех слепых», когда целый день он водил меня по нашим маршрутам, но в светонепроницаемой повязке. Весь мир, кроме одной руки, был тёмнее ко мне, суров. Туфли мои постарели на месяц вперёд. Слух стал боязливей, обоняние — голоднее. Тело постарело, кажется. Но что-то ломалось во мне с каждым нерешительным шагом.

Я провела день без глаз, Давид — без руки. Вместе мы были целее целого, нам же хотелось неполноценностей. Мир вертел нам пальцем у виска.

Дома можно было влезть в один свитер и пытаться готовить. Или лежать на брусчатке днём среди города. Или говорить честно всем один день. Или.

Но больше всего мне нравились не эти деформирующие эксперименты, а простые игры вроде «я люблю», «я хочу». Они только казались проще. Они были важнее всего.

Или когда мы представляли будущее на короткие промежутки вперёд.

Мы идём к нему домой, а я вслух захожу в прихожую, вдыхаю запах. Незаметно, осознавая его секунд через пять, и он порождает во мне что-то, какое-то воспоминание, ассоциацию. Я снимаю левую туфлю, моё бедро проваливается. Например, я как-то приходила утром с завтраком, ты открывал мне сонный, мятый, холодный, злой — был этот запах и еще немного

мужчины утром. Снимаю правую, носком левой ноги стягивая с пятки. Стопы ровно. Голову вниз. Резко волосы вверх, провожу руками по лицу, по волосам. Тут бы можно поставить мою маму, которая непременно ругает меня, рассказывает, что ждёт после этого моё лицо.

Маму мою ставлю в угол прихожей, под вешалку с зимними вещами, которых нет. Мама стоит, руки в поясицу, оглядывает меня с ног до головы, вздыхает, потому что: «Ну, почему ты с другой планеты. Почему я никогда не смогу привыкнуть к этому ужасу — твои платья, тянутые свитера сверху. Иди руки мой!». Я ставлю маму, я же её обнимаю. Я могу делать что угодно, потому что я иду сейчас по улице *Vorgo Angelico*, в руках у меня сетка яблок, и обнять я могу скорее Папу, чем маму. Я молчу, прихожая испаряется, сетка рвётся, яблоки катятся.

Через несколько минут я вхожу и вдыхаю, и левая туфля, правая. Мамы нет как нет.

Импровизация

Я.: Люблю плавать на спине

Д.: Каракса

Я.: Арбат в пять утра

Д.: Читать в ванной

Я.: Сладкую вату

Д.: Когда женщина поддаётся в руках

Я.: Когда мне улыбаются дети

Д.: Как пахнет сыростью в подвалах и метро

Я.: Один клён на Кунцевском кладбище

Д.: Когда несколько пеликанов рядом

Я.: Когда носят на руках

Д.: Чай в поезде

Я.: Неожиданные объятия сзади

Д.: Игрушечную железную дорогу

Я.: Перепёлку

Д.: Женские руки, шеи, красный лак

Я.: Лёгкость

Д.: Бульдогов

Я.: Дышать в форточку утром после того, как всю ночь грел обогреватель

Д.: Вчерашний кофе на столе

Это были важные вещи. Со стороны могло показаться, что это набор фраз. Но было чрезвычайно сложно понять, что ты любишь и хочешь. И произнести это вслух. Это как дать определение слову ревность или грусть.

Мы чувствовали себя стариками. Нам редко хотелось чего-то грандиознее зелёного яблока с красным боком или кормить птиц. Чем чаще мы заходили в тупик в этих двух играх, тем быстрее мы старели. Ведь мир для нас не мужчины-женщины, мёртвые-живые, глупцы-мудрецы, бед-

ные-богатые, а просто старики-дети. Только и всего. Дети, впитывающие всё, рассматривающие, изучающие, любящие крепче, серьёзнее. Старики, на краю, не мечтающие, не добреющие, не любящие изо всех сил, ждущие, что теперь жизнь поработает на них. Жуткие двадцатилетние старики и старухи. Удивительные дети восьмидесяти лет.

Станислав Стефанович, с которым я таки познакомил Давида. Он хотел всегда, хотел чего-то прекрасного, но и часто невыполнимого. Потрогать луну и пингвина, научиться кататься на скейтборде, уронить большой букет с высокого этажа и услышать это. Его желания наслаивались одно на другое, вылетали с огромной скоростью, не могли дожидаться своей очереди. Люди вокруг считали нас чудаками. А мы даже думали и говорили похоже, до того нам было цельно и хорошо. Будто в пазл правильно собрали.

Станислав Стефанович не осуждал меня. Саша ни о чём не спрашивал меня. Мир словно говорил: делай что хочешь, расплатишься потом. И люди, разные люди, которых к нам прибывало, открывались до седьмой страницы. Как раз, чтобы узнать еще о мире, распить пару-тройку бутылок алкоголя, вдохновиться и зафиксировать.

Квартира Давида была полна этих бутылок. Мы их вымачивали, очищали и рисовали мультики. Пришлось убрать ковёр, чтобы удобнее было лежать и смотреть, как бутылка катится, снег идёт. Бутылка катится, Давид моргает. Бутылка катится, катится.

— Саша!

Резкий глоток воздуха.

Хватаюсь за одеяло.

— Саша! Что такое шапка!?

Все слова будто освободились от значений. Жуткое, холодящее, паническое чувство. Как бояться упасть, дергаясь в судороге при засыпании, в полудрёме. Только это при пробуждении, уже третий раз за месяц, и дольше, чем обычно. Я не могу вспомнить, зачем звонит будильник, куда мне нужно, что за день. Но главное — что такое шапка.

10 секунд. 19 мая 2010 года. 13 секунд. Саша ушёл на работу? 17 секунд. Шапка — на голову. Тишина.

Саша приходит в обед. Я — само совершенство. Блины.

— Саша. Мне страшно. Я что-то теряю.

— Что ты теряешь? — не смотря на меня.

— Слова.

— М?

— Слова!

— Как это? — Ест. И смотрит в свою тарелку.

Не в глаза.

— Не помню. По утрам особенно. Или рассказываю что-то и вдруг не успеваю. Знаешь, бывает говоришь, и полусознательно планируешь вставить слово, но вдруг не успеваешь, словно двери захлопнулись.

— Попей таблетки какие-нибудь. Я не знаю.

— Ты не знаешь. — Ухожу к себе.

— Всё нормально? — Кричит из кухни.

— Всё хорошо.

Что-то начало сыпаться в моей голове. Именно учителей, лица родных, которых я не видела месяцев девять, концовки книг, всё, что производило мне первый раз. Сначала это пугало, потом стало всё равно. Зачем помнить имя нового знакомого? Я умею обойтись, а любить его я не собираюсь.

Но чуть позже страх вернулся. Когда я забыла про свой день рождения. Забыла не потому, что не хотела помнить, или заработалась. А потому, что дни шли кучей-малой. Я не помнила числа, месяцы, дни недели. Каждое утро звонил Давид:

— Сегодня двадцать пятое мая, среда. Везём в магазин в центре семь ваз.

Разговаривал со всеми вместо меня. Саша сам составлял списки покупок. По всему дому висели мои пометки: «купить постельное бельё», «сказать родителям, что люблю», «Саша не ест морепродукты и желтый перец».

Давид каждый день дарил мне слова.

«Сети — ими ловят рыбу. Дырявые полотна».

«Карусель — пластиковые звери по кругу» — на разноцветных бумажках вручал со сладостями — глюкоза — память.

Мне снова не страшно. Я не хожу к врачам. Я смотрю кино и не знаю, чем оно кончится, второй раз за несколько месяцев. Я не помню, сколько времени я провела в Риме. Давида я представила Саше знакомым врачом. И ничего не произошло. Просто иногда мы могли разговаривать и у нас дома.

Станислав Стефанович беспокоился больше всех. Звонил даже какому-то знакомому профессору, советовался, записывал названия таблеток. Я не слушала. Мне было всё равно. Не хотелось лечиться. Чем меньше оставалось воспоминаний, тем богаче была моя фантазия.

Давид говорил:

— Это расплата за то, что ты никого не любишь.

— Но я люблю всех! — Недоумённо улыбаюсь.

— Всех — это никого. Ты не Иисус и не Будда. Ты возомнила себе.

— Ты не понима-аешь. — Больше нечего говорить. Бедный Давид просто влюблён как мальчишка. Я его злю. Злю тем, что действительно люблю всех на свете. И у меня нет зажимов, стеснений, неудобств. Мы можем сидеть в кафе, я заговорю с человеком за соседним столиком, а через час могу обнимать его как лучшего друга. Забыв про Давида, потому что тот кукуется и в обидах. Ему теперь нужна я одна, мне — каждый. Я свободно разговаривала на улицах и в метро с людьми, которых он и Станислав Стефанович называли странными. Саша при виде них вообще, наверное, бежал бы в ужасе.

Мы всё меньше понимали друг друга. Нет, не так. Они понимают меня всё меньше, я их всё больше, но от этого люблю их не меньше. Давид же злится на меня. Он держит, я пытаюсь тянуть его вверх, секундами удаётся. Станислав Стефанович никуда не тянет. Мы всё чаще говорим о смерти.

— Вам не страшно?

— Нет. Я знаю, что я умру.

— Все знают, — улыбаюсь.

— Нет.

— Как же?

— Нет, я действительно умру. Я знаю именно это.

— А я?

— А ты знаешь, что живёшь. От этого ты свободна. Ты очень легка. Я видел таких людей всего несколько раз. С одной из них я был знаком. — Мечтательная, тянущая, мягкая пауза. — И я точно знаю, что вся она была жизнь. Она не умирала. И теперь ты вот. Но ты слишком молода для этого знания. От этого у тебя проблемы с памятью. Твой организм не справляется.

— Наоборот же! Он отпускает всё плохое. Всё, что ненужно. И я лечу.

— Нет, девочка. Молодой организм может любить по одному. Иногда по двое. Но не мир целиком. То есть действительно любить, понимаешь? Для этого люди опустошаются годами. Жалко Давид не понимает. Хотя, он мог бы. Он вцепляется в тебя, но не понимает. Он слепнет от влюблённости, но не любит. Но ты не жалеешь, что всё так, что ты что-то забываешь. Я бы очень

многим пожелал бы твоей участи. Хотя бы на день, каждому. Ох, как бы пожелал. — Но всё равно записывает названия, адреса, фамилии.

Саша нервный. Ничего не спрашивает. Думаю, его раздражает Давид. Думаю, с ними разговаривает Станислав Стефанович. Он чувствует, что я ускользаю. Каждую ночь крепко-накрепко сжимает в объятьях, но не понимает, что ускользаю не от него, ото всех. Давид не выдерживает, требует от меня близости. Требует меня всю, целиком, а я не в силах никому ничего объяснить.

Саша рвёт и мечет — никаких Давидов. Станислав Стефанович со мной, но у него своё — он умрет через месяц. И тут-то я пойму, что весь мир лишь для любящих и мёртвых.

Люди, самые разные люди, не имеющие больше власти, собирающиеся в одном месте, заставляют нас тише говорить, копошиться вокруг их овальных портретов, кидать конфеты, сжигать тонны воска, любить то, к чему больше не прикоснуться, не обнять, не сказать в глаза. Одной только памятью о них меняющие сотни, тысячи судеб.

Будем ли мы достойны такой участи? Кто даст нашей смерти цену, равную чьим-то минутам жизни? Одно кладбище стоит тысячи мест для влюблённых. Одна могила — сотня столиков в кафе на двоих, десятки двухместных кроватей.

Весь мир для любящих и мертвых. Подели какую-нибудь прекрасную вещь на два — она станет еще прекрасней. В моём любимом кафе в базе данных нет одноместных столиков. Даже если ты один, в отчётах значится любая другая цифра. Никому не узнать, что ты один.

Когда умер Станислав Стефанович, я поняла, что ничего не знаю про смерть. Никто не знает, кроме тех, кто уже не расскажет. Но каждый готов к её обрядам. Словно весь город притаился и ждал только повод, чтобы объяснить и показать, как надо прощаться по правилам. Но какие могут быть правила, когда умирают родители, дети и люди с младенческой пеленой на глазах. Как правильно сжечь или закопать человека, о котором ты думал как-то, глядя, как он в день своего шестидесятипятилетия катит тяжелую тележку с мороженым, раздавая каждому встречному пломбиры. О котором ты думал: «Вот бы он повоспитывал моих детей хоть чуть-чуть».

Я поцелую его в глаза, скажу:

— Благодарю Вас, — и не выйду из дома месяца три. Всё это время Саша будет отвечать на

все телефонные звонки мне, терпеливо ходить в магазин, благодарить за еду наспех, терпеть все мои отрешенности, неприкосновения и то, что сплю я на полу одна. Будет даже разговаривать с Давидом в дверях. А тот уедет в Россию на месяц. Два? Три? Уедет, чтобы вернуться одним днём, когда я забуду его имя; всё своё детство, кроме одного маленького воспоминания; чем закончился «Онегин», дочитанный пятый раз; все фильмы Каракса; что мажут на хлеб; итальянский язык. Я почти не разговаривала. Попытки учить стихи наизусть заканчивались истериками. Самое странное было помнить слова вроде «трансцендентный» и «сублимировать», но не помнить «щеколду», «расчёску», «крапиву» и «палача». Не помнить ни одно своё первое сентября, и уж тем более свой первый поцелуй.

Давид приехал каким-то днём, зашел и сразу начал нашу старую игру.

— Люблю гусениц, Карелию, мосты, белые тарелки, моржа, куб, лежать в жару на мраморном полу...

— ... на боку, прислонив щёку ...

— ... и тебя. Люблю. — И обнял.

— Нет! — Отстраняюсь, захожу за порог назад в дом и медленно закрываю дверь.

— Не хочу! Не хочу никого знать! Не хочу забывать их! Не хочу ждать! Ничего не хочу! — Колотит с другой стороны.

— Открой дверь! — Рыдаю. Ничего не могу. Рыдаю. Трясутся руки. Я с трудом справляюсь с замком. Вытирает моё лицо руками. Холодные, ледяные. Пахнут салфетками из самолёта. Я реву в голос. Не остановиться.

— Чш-ш-ш-ш. Чш-ш-ш-ш. Дыш-ши, дыш-ши. — Сажает меня на пол, держит голову, вытирает лицо. — Дыши!

— Не. Мо. Гу. — Прерывистое, резкое дыхание в себя. Снова накатывает, моё лицо сжимается. Я — боль. Я — страх. Я — последняя смерть на земле. Я так не хочу больше ничего забывать, как никто никогда ничего не хотел. Не хочу ничего узнавать, запоминать, вспоминать, чтобы это не высыпалось из меня, как из решета. Я пустое дырявое нечто. Во мне нет ни одной станции метро. Нет столовых приборов, большинства блюд. Я не помню. На чем сидят, чем пишут. Только картинки, только кино. Несвязанные, чужие лица, произведенные моим воображением. Я сказала Саше, если он приведет врача, больше меня не увидит. Он покорно разговаривает с моей мамой вместе со мной по громкой связи. Она рассказывает про каких-то людей, мне бесконечно тяжело силиться вспомнить. Саша всякий

раз объясняет, кто они мне. Мы рисуем на стене дерево, клеим фотографии тех, о ком говорят родители, но я их уже не чувствую, от этого мне всё равно. Я — дыра. Воображение. Ни прошлого, ни будущего.

— Я прилетел только что. Мама передавала тебе привет.

— Чья мама? — Опять слёзы. Давид достаёт из шкафа платье. Синее. Его любимое. Снимает с меня майку, шорты. Я замерла бесчувственной куклой. Сижу, смотрю на него. Зато не плачу. Одевает платье.

— Накрасишь мне губы? На комодке косметичка. — Красит, смешно прикусывая от усердия нижнюю губу. Иду смываю всё. Заново.

И так день за днём. Опять что-то не как у всех. Какие-то игры, фантазии. Давид больше не рассказывает истории, мы их сочиняем.

Саша не выдерживает и добивается разрешения на выезд в Россию. На две недели. Октябрь. Потом еще две недели отпуска. Ничего не понимаю. Собираю чемодан. Разбираю чемодан. Растерянность? Ужас? Я не знаю, как это назвать. Куда я еду? Зачем? К кому? Как я буду разговаривать с ними. Они укутат меня в больницу, будут лечить. В итоге скандал. Я отказываюсь.

— Нет. Только в отпуск.

Лежу на полу. Сил нет. Кричали друг другу часа полтора.

— Хорошо. Едем в Португалию. Завтра.

— Куда угодно, только чтоб никто меня там никогда не знал.

Мне жаль Сашу. Он не заслужил. У него есть свои родители, друзья. Он не видел их уже год. Я же вернуться не могу. Мне нечего им сказать. Я привезу им одно сплошное беспокойство. Они мне в ответ — уговоры и лечения.

В Португалии я хочу играть идеальную жену. Пусть Саше воздастся. Он хотел от жизни всего лишь этого.

Саше воздается. Я его берегу, одариваю и кормлю. Люблю, танцую и обнимаю вдоволь. Он счастлив, не понимает, что это роль.

Люди без памяти вообще идеальные актеры. Чувственное восприятие остается, его никуда не деть. Ты можешь не помнить, когда это произошло с тобой, где и кто был свидетелем, но точно помнишь, что чувствовал, какой жест использовал.

Даже ревную его специально, чувствуя, что ему вовсе не по душе мои:

— Какая красивая. М? тебе нравится?

И так проходит неделя. Тошнотворной, сემейной идиллии. Пока Саша не говорит:

— Хочу детей.

Я отшучиваюсь, он в ответ:

— Нет, хочу от тебя. — Еще пара шуток. Он не хочет ничего понимать. Этот болван всё портит. Я выхожу из-за стола, иду в номер. Он мне какие-то доводы, уговоры, мольбы. Я выхожу из номера, уезжаю в Рим.

Единственный, кого я люблю и крепко накрепко держу в памяти — Станислав Стефанович. Смерти отдала — забвению ни за что. То, с чем я борюсь уже месяца четыре. Каждый день вспоминаю его лицо, какую-нибудь встречу, прогулку, перечитываю книги от него. Я даже не уверена, что все мои воспоминания чисты, без фантазий. Всё равно. Я его помню!

Маму с папой люблю. Кожей люблю, инстинктивно. Как нельзя забыть дышать, так нельзя разлюбить родителей. Но мы так далеки. Я их не помню.

Сашу помню, но не люблю — жалею.

— Ты специально нас всех мучаешь. Ты не хочешь ничего помнить. Ты издеваешься.

— Саш, ты чего? — Сидим смотрим фильм.

— Ненавижу его! Ненавижу! Мы смотрим его в шестой раз! Неужели так сложно запомнить? Тебе по кайфу! Страдать, не помнить, жалеть себя, быть слабой. Тебе просто нравится! Ты садомазохистка. Тебе нравится, что это странно! Всё странное тебе в кайф. Я-то тут причем?! Возьми уже и прими таблетки! И всё. — И еще минут пятнадцать этих криков. Я выслушиваю. Минуты через три я его уже простила, а он все не останавливается. Наконец, замолкает. Я вытаскиваю диск, иду к двери.

— Начинается. Нет! Скажи мне что-нибудь. Ты раньше так любила спорить. Давай же!

— Саша. — Смотрю на него секунд двадцать. Мне нечего говорить. Мы тут каждый за себя. О разном.

Пячусь к двери.

Перед смертью, недели за две, на мой день рождения, Станислав Стефанович вручил конверт с ключами. Внутри было написано: «Я всё уладил. Это твоё».

Но я не решалась войти. Кажется, никто никогда не решается на такое: видеть мир вещей, которым всё равно — умер их владелец, или уехал в отпуск. Ты криком кричишь, ревьешь, частично умираешь, зарабатываешь старость и боли, а все эти предметы лежат себе. Не ждут, не скучают. Даже не радуются.

И я захожу. И всё на местах. И всё равнодушно. Я начинаю ронять всё подряд. Скидываю одежду с вешалок, кидаю посуду.

На местах остаются только старенький телевизор, печатная машинка и подаренный мной, старинный красавец-граммофон с барахолки. Он пережил так многих. Я не приглашаю его на эти поминки.

Всё звенит, щелкает, шуршит, хрустит, скрипит. Пусть, пусть звучат. Пусть плачут. Пусть поймут меня. Может, они поймут. Но они не поймут. Я топчу одежду, топчу осколки. Боли не чувствую. Неистово перескакиваю с ноги на ногу. Двумя ногами. В глазах темнеет. Я падаю.

Вздрагиваю от резких криков и стуков. Пытаюсь подняться, но ноги мои онемели. Смотрю вокруг, вижу кровь, накатывает тошнота, потом боль, я кричу, мне страшно. За дверью крики не прекращаются. Стучат изо всех сил. Я ползу в коридор, дотягиваюсь до ключа, оставленного в двери. Резкий толчок.

— Больно! — Пытаюсь отползти, еще толчок. — Бо-ольно! — Пауза, я успеваю отползти на достаточное расстояние, вбегает Саша.

Потолок близко-близко. Я дома, на своём втором этаже кровати. Стопы тянет болью. Как Саша затащил меня сюда? Скрип лестницы, его голова.

— О. Как раз. — Протягивает таблетки. Морщусь. — Обезболивающее. — Он знает, как я боюсь боли. Покоряюсь. Сплю. Иногда он будит на покормить и таблетки. Иногда относит на руках в ванную. Так дня три. Я читаю, Саша работает, мы смотрим кино, Саша готовит.

Наконец, я просыпаюсь. Я больше не хочу лежать. Хочу бегать, ходить по всему городу. За окном мерзкий декабрь. Плюс пять.

Ни снега, ни красоты. Мокро и зябко. Всё равно я невероятно активна. Саша доводит меня до художественного магазина. Мы выходим с семьёю холстами, рулонами бумаги, десятками тюбиков с красками. Ходить без Саши никуда не могу, а за холстами время не видно. Рисую руками, губками, брызгами. Мне не важен результат. Только процесс. Ватманы комкаю, рву, выбрасываю.

Ноги мои заживают. Саша продолжает кормить таблетками. Я читаю в интернете, что они для улучшения памяти. Злюсь, потом всё равно, потом даже рада. Я теперь помню, что ложка — ложка, а нож — нож. Я вспоминаю про Давида.

— Он приходил несколько раз, я его выгнал, ему нечего тут делать.

— Позвони ему, пожалуйста.

— Нет.

— Пожалуйста! — Я требую. Я помню, что он тоже много сделал для меня. Я просто помню — он должен знать об этом. Он будет рад. Но Саша не рад. И Саша идет на работу, и я нахожу номер, и Давид приезжает.

А он симпатичный. И плечи, вроде, стали шире. И не брит, ему идёт.

Я наливаю чай. Давид молчит. Иду в другую комнату. Компьютер выключен.

— Ты чего? — Морщится от горячего.

— У тебя на телефоне? — Сама рассматриваю комнату.

— Что у меня на телефоне?

— Звук. Откуда звук?

— Какой звук?

— Ты что, не слышишь? Звук! Они говорят, что он ничего. Симпатичный. Небритость ему идёт. И он в новой рубашке.

— Кто — он-то?

— Я не знаю! Ты слышишь их?

— Нет! Я не слышу никого, кроме тебя. Ты чего? Сядь уже.

— Тс-с! Молчи! — Озираюсь, нервно дёргаю ногой. Смотрю внимательно на Давида.

Не выспался, смотри.

Ага. Синячки.

Замечаю, что у Давида действительно синяки под глазами.

— Слышишь?

— Нет. Ты разыгрываешь меня?

— Нет. Они, кажется, обсуждают тебя.

— Ты с ума сошла. Кто — они?

— Не знаю. Голоса.

— Где? — Молчу. Мне страшно отвечать. — Где голоса? Ну?

— В голове? — Давид недовольно щурится, смотрит на меня. Он знает, что я не смогу долго разыгрывать, мгновенно «колюсь».

— Ты пугаешь меня.

— Мне страшно, Давид. Сделай что-нибудь?

— Что сделать?!

Интересно, у него есть кто-нибудь.

Не думаю. Он всё думает о Яне.

Я бегаю по квартире. Я ищу любой возможный источник звука. Я даже ищу в коридоре на общей площадке, прислушиваюсь к трубам. Что угодно, только не моя голова. Давид еще немно-

го злится, потом пугается сам. Ходит со мной из комнаты в комнату. Наконец, я устаю, ложусь на диван.

Тупые соседи, вечно оставляют мусор за дверью. Ну и вонь.

Я смеюсь, а Давид сидит на полу и смотрит на меня. Я смеюсь в истерике. Смеюсь, долго, плачу.

— Яна, я вызову врача.

— Нет! — Вскиваю. — Нет. Врача не надо.

— А что делать? Я не понимаю, что еще делать. Что с тобой творится. Голоса. Смеёшься — плачешь. Мне страшно.

— И мне. — Сажусь рядом на пол.

И я теряю Давида. Он не приходит больше, он звонит. Он боится. Я чувствую интонации. Голоса спорят, сдаст он меня в психушку или нет. Наконец, мы встречаемся, чтобы всё решить. Он любил другого человека, — я не я. Он хотел странностей, а не сумасшествий.

— Может, в тебя вселился дьявол? — Неудачные шутки, неловкие, длинные паузы.

— Прощай, Давид. — Выхожу из кафе, но он уже так далёк, что, на сколько шагов от него мне не отойти, дальше быть невозможно.

Сашу терять нельзя. Я молчу про голоса.

Они говорят всегда. Даже когда я засыпаю. От этого я не засыпаю. Самое ужасное, что они говорят глупости. Словно школьницы восьмого класса после дискотеки за бутылкой пива.

Таблетки пью всё чаще, потому что теперь я помню, когда родился папа, «сети», «палача», что Татьяна отвергла Евгения, и что в последнее первое сентября шёл отвратительный ледяной дождь. Вспомнила, что училась в институте, ушла в академ года полтора назад, и меня, наконец, отчислили.

За Станислава Стефановича мне стало спокойнее. Он ушёл в подкорку, я не тревожу его по пустякам каждый день. Я его отпустила. Достаточно просто взять плед, собираясь к зимнему морю, и улыбнуться. Или взять стеклянную, неведомую, подаренную им тарелку для завтрака, провести ладонью по ней и мысленно обнять его.

Смотри, смотри, тарелку гладит.

Вот дура.

Это же Яна. Она та ещё дура.

Я роняю её. Цела. Я счастлива этим. Мне надо мало для счастья. Не слышать голоса минут пять. Но такое очень редко. Я запрещаю себе думать, чувствовать, анализировать. Что ни мысль — обязательно комментарий. Глупый, не порождающий новую мысль. Неужели мой внутренний мир таков, раз он породил таких вот чудовищ. Я ненавижу глупую пустоту. Я становлюсь ею.

В интернете выясняю, что это, скорее всего, шизофрения.

Шизофрения, шизофрения, шизофрения, шизофрения, шизофрения, шизофрения, шизофрения, шизофрения.

Какое странное, длинное слово — удав. Оно берёт за горло. Оно ведёт меня к Саше.

— Я слышу голоса, Саш.

Опять глупые вопросы. Разговор ни о чём на час. Мы решаем, что он поговорит с врачом, который советовал таблетки.

На следующий день звонит, спрашивает о болезнях, о детстве, о болезнях родителей. Ничего не знаю. Всегда здорова. Даже ветрянкой не болела. Хотя, вроде, я недоношенный ребёнок. Он повторяет это доктору. Бросает трубку. Звонит ещё через двадцать минут.

— Таблетки есть еще?

— Да. Только что выпила.

— Выбрось их.

— Как это?

— Выбрось сейчас же. Вечером всё расскажу. Собрание на кафедре еще. Выбрось. Пока. — Ненавижу, когда бросают трубку.

Беру в руки баночку.

А если он специально? Может, он хочет, чтобы ты снова всё забыла?

Думаешь, он не хочет домой?

Думаю, он хочет от тебя детей.

Бред. Зачем ему дети от больной.

Но если ты перестанешь их пить, снова всё забудешь.

Но пропадут голоса.

Что в них такого?

Я продолжаю ходить с этой баночкой в руках. До вечера. Пока не приходит Саша и не объясняет, что от передозировки дофамином возможны приступы шизофрении, а от недоношенности возможно что угодно, и даже амнезия. Выбрасывает таблетки.

Я плачу. Мне кажется, я забываю всё в эту же секунду. Ночью достаю их из мусорки. Пью. Прячу баночку. Проходит еще неделя. Таблетки

почти закончились. Я ищу возможности их купить, оказывается, не нужен даже рецепт.

Но голоса говорят.

Пусть говорят.

Но они говорят, что я никого не люблю. Я папу, маму люблю. Но они говорят, что я никого никогда не любила. Ни одного мальчишка, мужчину. Помогала, общалась, проводила время, спала, играла, но не любила. Мне, мол, это не дано. Какое право они имеют это обсуждать. Постоянно.

Не могу это слушать. Новая банка летит в мусорку. Я больше не могу. Не хочу это знать, помнить, думать об этом. Забуду всё. Придумаю себе любовь. Я её напишу!

Проходит дней десять, голоса убывают, постепенно сходят на нет, но они всё глупее и примитивнее. Их нет. Я вновь играю в идеальную жену. Я снова не помню, чем размешать чай. Пишу. Вспомнила? Придумала?

Сброс. Иду в Колизей. Иду не любить, а вообразать. Иду подниматься на самую высокую точку — видеть всё. Иду писать — это всё.